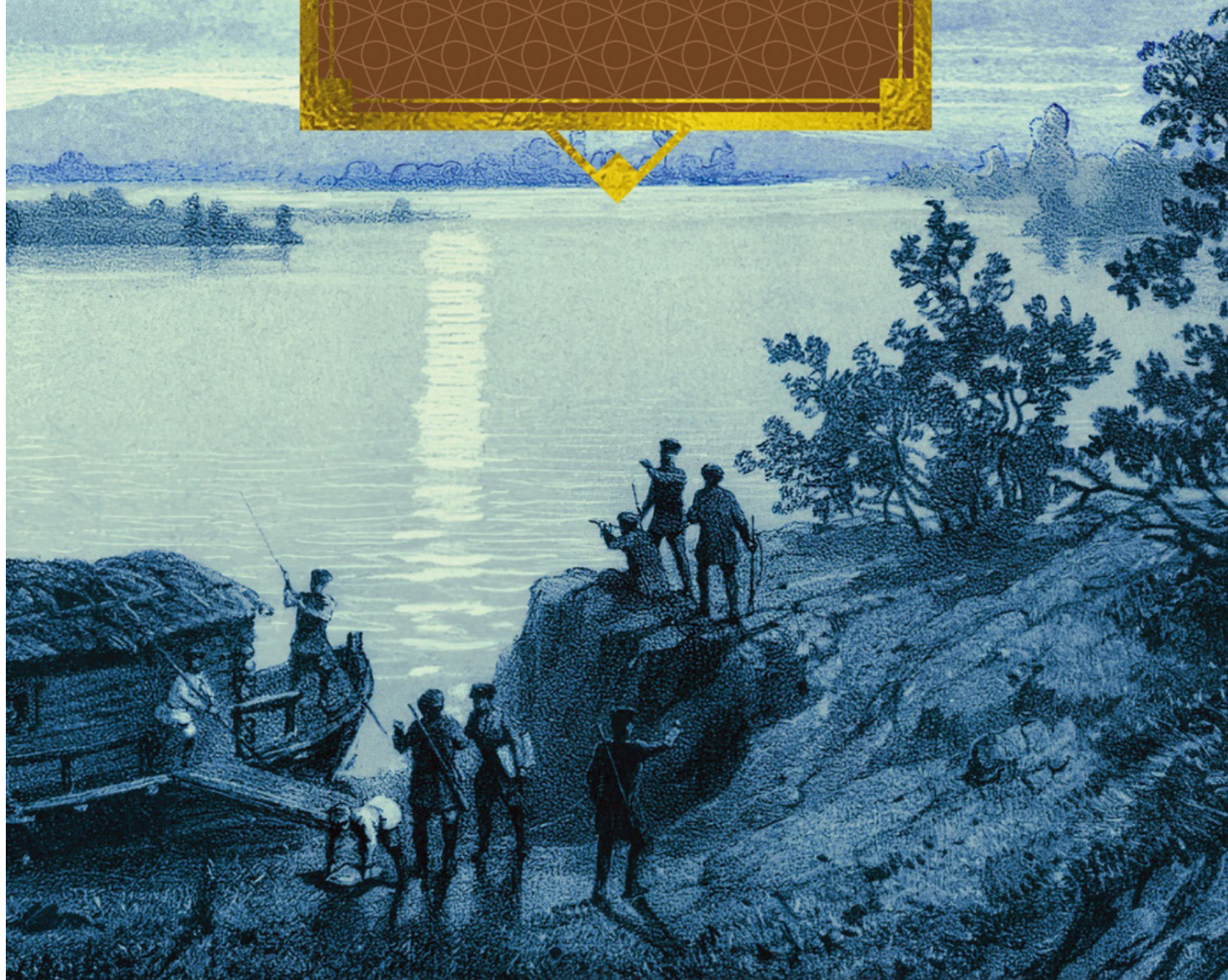


ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОМПАС РОССИИ

Николай
Наволочкин

АМУРСКИЕ
ВЕРСТЫ



Литературный компас России

Николай Наволочкин

Амурские версты

«Азбука»

1974

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Наволочкин Н. Д.

Амурские версты / Н. Д. Наволочкин — «Азбука»,
1974 — (Литературный компас России)

ISBN 978-5-389-33223-2

Николай Дмитриевич Наволочкин (1923–2013) — советский и российский писатель, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Хабаровска. Родился в поселке Николаевка, расположенном на берегу реки Тунгуски (приток Амура), недалеко от российско-китайской границы. После войны окончил исторический факультет Хабаровского пединститута; начал публиковаться в 1950-е годы; в 1970–1980-е был главным редактором литературно-художественного журнала «Дальний Восток». В романе «Амурские версты» Николай Наволочкин обращается к истории освоения Амура русскими землепроходцами, которое началось еще в семнадцатом веке и продолжилось в середине девятнадцатого; рассказывает о первых русских станицах на Амуре и жизни первых русских поселенцев, благодаря которым Россия прочно закрепилась на своих дальневосточных рубежах.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

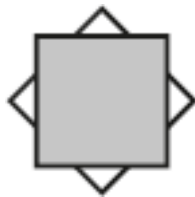
ISBN 978-5-389-33223-2

© Наволочкин Н. Д., 1974

© Азбука, 1974

Содержание

Часть первая. 1857 год	6
1	6
2	17
Конец ознакомительного фрагмента.	28



Николай Наволочкин

Амурские версты

Оформление обложки Вадима Пожидаева

В оформлении обложки использованы литографии Егора Мейера «Вид Амура по выходе из Хинганского хребта» и «Вид Амура у скалистого берега Дёрки» из «Альбома рисунков к путешествию на Амур, совершенному от Сибирского отдела Императорского Русского географического общества» (1859).

© Н. Д. Наволочкин (наследник), 2026

© ООО «Издательство АЗБУКА», 2026

Издательство Азбука®

Часть первая. 1857 год

Как от Шилки по Амуру

Великие версты:

Ох, достались эти версты —

Стерли у рук персты...

Забайкальская песня

1

Дед Мандрика, малолеток пятой Усть-Стрелочной сотни, грелся на майском солнышке с годком своим и соседом Пешковым Кузьмой, бывшим служилым казаком той же сотни Забайкальского казачьего войска. Посасывали деды пустые, без табака, медные богдойские трубочки, выменянные в молодости в один и тот же день у богдоев на летней ярмарке. Отвалили они в промен по глупости за каждую трубку по медному сибирскому пятаку, чеканенному еще, может, лет сто назад при матушке Катерине. Отвалили и, хотя с тех пор состариться успели, по сей день жалеют. Пятаки эти и гривенники медные с двумя соболями на одной стороне и вензелем царицыным – на другой потом в цене поднялись. Приезжие заамурские торговцы и на здешней ярмарке, что таборится раз в год возле Усть-Стрелки, и на большой ярмарке у Горбицы, и даже в такой дали, как Старо-Цурухайтуевский караул, ценить их стали дороже серебра. На них можно сменять и ханшин, и буду, и огниво, и табачок. Хотя табак ныне обоим казакам ни к чему. Нутро уже не принимает дыма, обратно его кашлем выгоняет. Оттого посасывают старики пустые трубочки, благо в них вроде бы дух табачный сохранился. Должон, конечно, остаться.

Последний раз раскуривал Пешков свою трубку на зимнего Николу, когда отлежался немного после экспедиции прошлого года. Натерпелись тогда солдаты и казаки, поморозились, изголодались, а многие от тифа да простуды без причастия Богу душу отдали. А все из-за его высокоблагородия Облеухова, чтоб ему на том свете ни дна ни покрышки, с отрядом которого ходил и Пешков. Но он еще легко отделался. Как раз под Николин день поборол казак простудную горячку. И хотя от слабости еще вставать не мог, сам набил обмороженными пальцами трубку и табак не просыпал. Правда, устал после этого, аж вспотел. Попросил дочку Настю высечь искру, затянулся и зашелся кашлем. Попробовал еще раз – нет, не идет табачок. С того разу и распрощался казак служилого разряда, участник двух сплавов по Амуру Кузьма Пешков с куревом. Но трубочку хранит. Пососешь ее, потянешь, и вроде где-то внутри легчает.

Мандрика бросил курить раньше и, можно сказать, от обиды. Провожали в ту пору первый сплав. Когда же это было? Может, в тот год, когда переселились в Усть-Стрелочную казаки из Цурухайтуя и привезли с собой невиданную доселе на карауле животину – свиной и баранов. Сейчас смешно вспомнить, а тогда переполошились в станице все от мала до велика. Бегали к дому нового сотенного командира посмотреть, какие такие свиньи бывают и что это за бараны? Старухи, те отворачивались и крестились, когда мимо случалось проходить, и ребятишкам строго наказывали, чтобы не шастали у сотниковых ворот и не смотрели на эту пакость. Да оно и простительно. До той поры казаки в Стрелке скота и пашен держали мало, только и были у казаков кони. Больше охотой жили и рыбалкой. Шкуры изюбрей и лосей меняли в деревнях на хлеб, пушнину продавали в Шилкинском заводе купцам и там, что надо, на целый год покупали.

Вот с того лета и начались перемены в устоявшейся жизни казаков. «Значит, сплав-то первый прошел не в тот год, а попозже», – соображает Мандрика.

– Это когда же, паря, первый сплав был? – спрашивает он у соседа.

Пешков засовывает трубочку в рукав теплого халата, смотрит слезящимися глазами на берег, где стучат добрыми топориками Петровского завода линейные солдатики, и считает на узловатых пальцах: «Одно лето плыли до Николаевска; в другое возвращались; потом, выходит, пошел с полковником Облеуховым, с тринадцатым линейным батальоном, где и захворал. А теперь вот новое лето – одна тысяча восемьсот пятьдесят седьмой год. Выходит, первый раз сплавливались в пятьдесят четвертом». Пешков хитро щурится и говорит:

– Ежели ты, сосед, запамятовал, когда тебя Эпов по уху огрел, то в пятьдесят четвертом!

– В пятьдесят четвертом, – согласно трясет сивой бородкой Мандрика и вспоминает, какая суэта была непривычная в ту весну, будто наступило светопреставление. Всю реку покрыли паромы и баржи с казаками и солдатами. И не думали никогда, и не чаяли станичники, что может в одном месте собраться сразу столько людей, что шум такой может быть в тихой Усть-Стрелке, где допреж стояло всего двадцать пять домов. Это нынче срубили сотенное правление, цейхгауз для оружия, хлебный магазин да новые жилые дома.

Бойкие казачки пытали у солдат: «Откуда вас столько берется?» На что солдатики отвечали: «Э-эх, молодка! Известно откуда – солдат солдата рожает!»

Но больше всего поразил станичников, конечно, пароход «Аргунь». Придумает же человек такое чудо! Дым из его высоченной трубы валил на берег и на казацкие избы, как при осеннем пале. Ревел он, пугая коней, сиплым гудком, так, что за много верст по реке слышно было. Испуганные эвенки – лесные охотники – после рассказывали, что, услышав гудок, они откочевали подальше в тайгу – думали: черт.

А как отваливать сплаву пришлось, все суетились и орали до хрипоты. Бабы-казачки от плача обезножили. Виданное ли дело – в неведомую даль, в далекие земли провожали они кормильцев и большаков-сыновей. А когда вернутся, никто не знал – ни сотенный Усть-Стрелочной командир зауряд-хорунжий Богданов, ни командир сводной сотни, что отправлялась в путь, – зауряд-сотник Скобелицын. Одно было приказано отъезжающим в поход казакам: обмундирование и провизию готовить на два года.

Прежде, бывало, ревели бабы, когда провожали казаков на учения в Цурухайтуйскую крепость. И она, казалось, стоит в несказанной дали – пять сотен верст до нее, а до того Николаевска, куда плыли теперь мужики, может, две, а может, три и более тысяч верст. А главное, там, мол, и есть край света.

Немудрено, что ревели бабы, и по делу и не по делу орали начальники, казаки и солдаты. И когда пришло время «ура» кричать и «рады стараться», то многие уже не кричали, а хрипели. Только один Мандрика сидел на бережку, на еще не просохшем от утреннего дождя этом самом бревне, на котором они сейчас греются с годком Пешковым. Сидел и трогал горячее ухо, потому что ударил его в суতোлке урядник Васька Эпов. Съездил наотмашь, привык, вишь, бить служилых казаков на ученьях.

Из пожилых в малолетках теперь остался один Мандрика, а раньше, до перемен, что начались с приездом нового губернатора его высокопревосходительства Муравьева, многие в малолетках ходили до старости. Служилых казаков тогда требовалось немного, и всех, кто не попадал в строй, считали малолетками. Обмундирование и жалование они не получали, провиант им хоть и шел от рождения, но половинный.

Это уже при Муравьеве всех малолеток до пятидесяти пяти лет заверстали в служилые. А Мандрика остался по годам. Зато послали его заготавливать лес для плотов. Вернулся в станицу, когда сплав провожали в путь. Стоял в толпе у воды, вместе с другими станичниками и бабами, смотрел, как сводная сотня строится, чтобы на плоты грузиться. А тут на «Аргуни» оркестр Иркутского полка грянул в четырнадцать медных труб. Дуры бабы к самому строю кинулись и Мандрику с собой поволокли. Ну и рассвирепел урядник Васька Эпов: «Так вашу, паря, ети!.. Куды прете! И ты туда же, малолеток! Не вертись под ногами!» И влепил Мандрике оплеуху.

Выбрался старик на берег. Сел на бревно, достал трубочку и закурил с досады. Только табак, видно от обиды, не пошел впрок. Кашель напал, голова кругом пошла, слезы потекли. Плюнул Мандрика в сторону Васьки Эпова и с той поры не курит. Как отрезал. Казачье слово, оно, паря, ого!

Сидят старики, подставляют бока солнцу, и, хотя каждый думает о своем, мысли у них, если разобраться, об одном. О том, как враз, быстро и круто изменилась жизнь и в Усть-Стрелке, и по всему Забайкалью.

Раньше по берегу Аргуни ли или Шилки редко когда человека встретишь. Все станичные ветки, или по-нонешнему – лодки, на перстах одной руки пересчитать можно было. А за последние четыре года каких только людей не повидала Стрелка. И казаков самых дальних станиц, и солдат линейных батальонов, и начальства разного: казачьего, военного, даже в эполетах, и чиновников из самого Иркутска. А ноне, сказывают, царев посланник граф Путятин проследовать должен. Купцы-узельники вдруг объявились. Заявится с холстинным узлом в избу, что побольше, развяжет свой товар. Тут уж девки и бабы чуть не дуреют. И чулки лавочные взять хочется, и колечко, и серьги. А разбитной парень-купец лентами трясет, кажет бусы. «Прежде своему станичнику продать что-нибудь считалось зазорным. Калугу кто выловит али козу подстрелит – тут же делили между соседями. А теперь, как узельники объявились, свой своему продавать начал», – сокрушается Мандрика.

«Еще совсем недавно девки и бабы вместе с мужиками в бане мылись, – думает Пешков. – А нынче моя Наська прыскает в ладошку, когда про это слышит. Да оно и верно. Бани-то, они вон день-деньской дымят – все приезжие в них парятся».

– Ваське Эпову, слышь-ка, – говорит Мандрика, – жребий выпал на Амур переселяться.

– Я бы не хворал, тоже своей охотой поехал бы, – отзывается Пешков.

– А я не... – раздумывает вслух Мандрика. – Ты поймей в виду: переезжать – значит все хозяйство порушить.

– Так-то оно так. Да какое у нас хозяйство! А там получишь пятнадцать рублей пособия да двухгодичное содержание, положенное полевому казаку... А места на Амуре прадедовские, нашенские впусе лежат.

Мандрика молчит, только сопит пустой трубочкой, замолкает и Пешков, и оба вспоминают, как еще зимой читали и растолковывали в станице распоряжение генерал-губернатора: вызвать охотников к переселению. Будут даны тем охотникам паромы и баржи для сплава. Обещал губернатор дома в новых местах срубить. Лес, из которого собьют паромы, тоже сулил переселенцам отдать. Всем домочадцам назначен провиант половинный к казачьему, тоже на два года. Только переселяйтесь, казаки! Однако охотников оказалось немного. И вот уже весной тянули казаки жребий – кому ехать.

Мандрика смотрит на улицу, которая сбегает в сторону Амура, туда, где сливаются Шилка и Аргунь и начинается путь в далекие края, к самому морю-океану, и замечает мальчишку. Казачонок нехотя, еле переставляя ноги, плетется по разъезженной дороге.

– Семка! – кричит Мандрика. – Поди, голубь, сюда.

Семка, соседский мальчишка, боком подвигается к старикам и останавливается в почтительном отдалении.

– Из школы бредешь? – любопытствует Мандрика.

– Ну, – подтверждает Семка.

– Пороли нонче?

– Малость, – тупится Семка.

– Орал, поди? – подмаргивая, спрашивает Пешков. Семка многозначительно молчит.

– За что же пороли?

– Географию недоучил...

– Какой же тебе урок был? Ну-ка, скажи нам с дедом.

Семка с готовностью откашливается и скороговоркой бубнит:

– Страница пятая. Взглянувши пристально на плоскошарие, легко заметить, что материки с островами не разбросаны напопад, но представляют некоторую симметрию, позволяющую разделить все земли земного шара на четыре света. Первый – Новый Свет, или образцовый, который нам представляет Америку. Второй – Центральный, или Европейско-Африканский. Третий – Восточный, или Азиатско-Австралийский. Четвертый свет – Океанический, который хотя и состоит из островов, но при тщательном наблюдении может быть подведен под общую мерку... – Выпалив все это, Семка втянул воздух и замолк.

– Ну, ин ладно, – сказал Мандрика. – Знатно чешешь. Чего ж такого грамотея пороли?

– Я дальше не выучил, а урок задавали на целую страницу.

– Ну-ну, – щурит в улыбке слезящиеся глаза Пешков. – А в Амур ты, Семушка, хочешь?

– Хочу! – восклицает Семка и, топнув ногой, видно, представив под собой доброго казачьего коня, рысью бежит домой.

Парнишке и правда грезится Амур, с его волнующей беспредельной далью. И для него это слово – «Амур» – не только река, которая начинается за песчаной стрелкой, а новые неведомые земли. Где-то там, об этом хорошо рассказывает дед Пешков, стояла славная русская крепость Албазин. Там не раз гремели отчаянные битвы, визжали ядра и рубились с врагом Семкины прадеды. И откуда-то оттуда – из Игнашиной, Солдатовой Монастырщиной – из больших сел пришли сюда и поселились нынешние жители забайкальских станиц.

Манит казачонка Амур. Неужто и правда есть места, где разливается он так, что порой другой берег еле-еле разглядишь? Казаки, вернувшиеся из походов, рассказывали, что растет там пьяная ягода-виноград. Что осенью валит по Амуру рыба так, что весла на лодках ломает и черпать ее можно прямо котлом. Про тигра еще говорили – лютого зверя.

Очень хочется казачонку увидеть все это. Да и всем мальчишкам хочется. Недаром они давно перестали играть «в караул», хотя это была хорошая игра. Будто они уже взрослые казаки и объезжают на конях границу, а навстречу им едут казаки горбиченского караула, и есть место, где они должны встретиться, обменяться ярлыками и вернуться обратно. Теперь казачата играют «в сплав». Тянут бечевой плоты, попадают в шторм, жгут костры и охотятся на желтогобокого, полосатого тигра.

«Семка-то поедет, и многие поедут, – грустит Пешков. – А я уж не поеду. Мне бы хоть до листопада, до морозцев дотянуть. А может, доживу...»

Сверкает под солнцем, рябит на мелях стремительная в этом месте прозрачная Аргунь. Монотонно повизгивают на берегу пилы, стучат, будто что-то выговаривают, топоры. Едкий запах горелой смолы тянется вдоль улицы от котлов, где разогревают вар для шпаклевки барж и лодок. Этот непривычный запах сдобривается другим – запахом гречневой каши, что допревает на горячих углях тут же на берегу, на обед солдатам.

Звонко ударяют молоты по раскаленному железу в закопченной, как курная баня, кузнице, сооруженной еще во время первого сплава тут же на берегу.

Трясет за ворот расходившийся унтер в чем-то оплошавшего солдата. Здоровенный тот линейный солдат тянет руки по швам, чтобы покорностью успокоить господина унтера. А из-за дальнего кривуна тянется к станице, уже не по Аргуни, а по Шилке, новый караван барж, может, с Шилкинского завода, а может, из самой Читы.

На днях отправляется в дорогу четвертый Амурский сплав.

* * *

Ночью над темной стеной отвесных гор, что дыбятся за Аргунью на китайском берегу, висела полная луна. Сверкающая ее дорожка пересекала Аргунь, обрывалась на берегу возле Усть-Стрелки, а потом блестела вновь, продолжаясь суживающейся полосой уже на Шилке.

Лунная дорога эта отражалась в окнах сотенного командира, составленных из осколков настоящего стекла, и в маленьких слюдяных оконцах казачьих изб. И хотя большинство казаков укладывалось на покой рано, вместе с темнотой, казалось от лунных отблесков в окнах, что вся станица бодрствует.

По берегу Аргуни и по берегу Шилки, за порубленным черемушником, горели костры. Стремительное течение плескалось в борта неуклюжих барж, построенных по проекту корабельного инженера Бурачека, покачивало плоты, сбитые без всяких проектов, как говорил тот же франтоватый Бурачек: «Кому как бог на душу положил».

Особенно жаркий костер пылал под берегом у дома Пешкова. Там, вместе с прибывшими прямо за ледоходом аргунями – цурухайтуевскими казаками, толпились станичные парни и девки. Послушать, как они играют песни, подошли и линейные солдаты. Но служивые только сегодня добрались до станицы, еще не обвыкли и держались в стороне, не смешиваясь с казаками. Здесь их почему-то называли «москва», хотя никого из линейцев из Москвы не было. И сейчас девчата, нагнувшись к главной своей запевале – голосистой Насте Пешковой, просили:

– Начни, Настюшка, старинную, пусть «москва» послушает.

– Да ну их, – отмахивалась Настя. – Устала я уж. – Но, заметив, что к ней пробирается молодой казак, в новой недавно сшитой форме, и узнав Мандрикина Ванюшку, сама вдруг затянула:

Во Сибири, во Украине,
Во Даурской стороне, —
Во Даурской стороне, —

подхватил первый Ванюшка, а за ним девушки и парни:

И на славной, на Амуре, на реке,
На устье Комары-реки
Казаки острог себе поста-ви-ли...

Настя опять повела одним голосом:

Круг острога Комарского
Они глубокий ров вели,
Высокий вал валили,
Рогатки ставили...

Это была старинная песня, память об обжитом еще в стародавние времена Амуре, о котором никогда не забывали в забайкальских селах. Невесть кто и когда сложил ее; может, еще сподвижники Онуфрия Степанова и Петра Бекетова – защитника острога Комарского.

Как несчастье случилось, —

затянула опять Настя, после того как хор повторил «рогатки ставили», и, словно бы не замечая Ивана, делавшего ей разные знаки, продолжала:

С удалыми казаками там...

Тут хор опять вступил, так что молодому казаку не оставалось ничего другого, как подтягивать вместе со всеми:

Издалече, издалече,
Из чистого поля,
Из раздолья широкого,
Из хребта Хингалинского,
Из-за белого камня
Выкатилось войско большое богдойское...

Солдаты песню такую никогда не слышали, они попыхивали трубками, переглядывались.
– А что это за войско богдойское? – вполголоса спросил один другого.
– Да то ж китайцев они так кличут, – разъяснил второй. – А девка ничё, а! – И он подтолкнул локтем товарища.

Тот хмыкнул и отозвался:
– Хороша Маша, да не наша.
– Она не Маша, а Настя.
– Все одно – не наша!

Перекликались по берегу часовые, и, когда песня смолкла, поведав о битве и поражении богдойцев, слышно стало, как и на Шилке окликают друг друга посты. А потом и там мужские голоса затянули песню. И хотя до певцов было далеко, и слова только-только угадывались, молодые казаки оживились. Они узнали эту песню. Она была новая и сложена своим станичником Пешковым, батькой Насти. И говорилось в песне о тяжелом походе прошлого пятьдесят шестого года, о том, как:

Со Стрелки отправлялись с полными возами,
В Кизи приплывали с горькими слезами...

– Настюха! – крикнул кто-то, невидимый за спинами толпившихся у костра казаков. – Слышь, Настя! Солдаты-то батьки твою песню поют!

Но Насти у костра уже не было. Иван Мандрика, как только песня про Кумару кончилась, незаметно увел девушку от костра.

А в доме Ванькина отца, старого Мандрика, в эту ночь долго горел свет.
Нежданно-негаданно, на самом закате солнца, пожаловали к старикам гости.

Сам Мандрика сидел на лавке, решая, сейчас разуться или попозже, когда жена перестанет греметь чугунками. Марфа же задумала, пока еще совсем не стемнело, пополоскать посуду и в полумраке гоношилась у печи. Чугунок с остатком ухи и печеную картошку она засунула подальше в печь, чтобы Ванька, когда набегается, похлебал тепленького. Вынимая из печи ухват, она обронила горячий уголек на пол и запричитала, что вот, мол, на ночь гость пожалует и придется разжигать каганец, а масла-то в каганце совсем на доньшке.

– Ничего, наш гость нагуляется и в темноте ложку мимо рта не пронесет, – отозвался с лавки Мандрика, – а ежели Наську приведет, то им в темноте сподручнее.

– Зря такое баишь, старый, про свое про дитя-то, – упрекнула его жена.

«Это Ванька-то дитя! Да он уже служилый казак», – хотел возразить Мандрика, да промолчал. С тех пор как он к старости начал заметно усыхать и притаптываться, вроде бы даже ниже становиться, а Марфа его все добрела, власть его в доме постепенно уменьшалась и переходила к жене. И не шумела на мужа Марфа, ничего не приказывала, тем более на людях, а слушался ее Мандрика и старался ни в чем не перечить. А почему – и сам не знал. Может, потому, что не дослужился он даже до полного казачьего содержания, не достиг разряда служилого казака, а может, подавляла его Марфа своей дородностью. Марфа словно не замечала покорности мужа, величала его часто уважительно «казакон», но все в доме шло по ее воле.

Вот так сидел Мандрика, думая: разуваться али жену подождать, – как в сенцах послышались шаги. Там кто-то шарил по двери, нащупывая скобу, ясно, что не Иван. Наконец нашел и открыл дверь.

– Здравствуйте вашему дому! – услышали старики и узнали Ваську Эпова. За Васькой вошла его жена.

Вот уж кого не только на ночь глядя, а вообще не ожидал увидеть у себя Мандрика, так это Ваську. Эпов имел чин урядника. Побывал однажды в самом Иркутске; от одного этого можно было на век загордиться. Там в иркутском казачьем конном полку учился он строю, артикулам с ружьем и пикой и другим премудростям. У себя в сотне на ученьях Эпов свирепствовал, чуть что не так, лупил казаков палкой по спине. Другие урядники тоже учили палкой, но не так, как Васька, этот бил без снисхождения. Правда, кто побогаче, откупались от побоев, дарили уряднику перед ученьем кто телка, кто жеребенка, а кто и лошадь. Потому-то и хозяйство у Васьки было крепкое. Одних коней – целый табун.

Мандрику Васька иначе и не называл – только малолетком. Сколько годов вместе в одной станице прожили, а за порогом в доме Мандрики урядник ногой не бывал. Если требовалось снарядить Мандрику на какую работу, то он стучал плеткой в окно и кричал: «Эй, малолеток, выходи!» На что Марфа неизменно отвечала: «Сейчас мой казак соберется!»

И вот сам грозный Васька Эпов пожаловал к Мандрике. Старики переполошились.

– Заходите, заходите, милости просим, – засуетилась Марфа.

Мандрика соскочил с лавки и не знал, как ему поступать: во фронт перед урядником тянуться или встречать его как хозяин гостя. А сам в это время думал: «Чего он так поздно, да еще со своей Матреной. Может, урок какой хочет задать, так Матрена зачем?»

– А мы к вам в гости! – сказал, улыбаясь, Васька.

– В гости, по-соседски! – поддержала Ваську жена.

Васька был мужик как мужик – крепкий, почти квадратный. Зато Матрена, несмотря на достаток в доме и добрую еду, тоща была и оттого, может, зла. Поговаривали бабы зимой у проруби, когда по воду на Аргунь ходили, что надо бы Матрене дитенка. Царю-батюшке казак был бы, Богу – душа православная, а дому – радость. Может, и приобрела бы тогда Мотря бабий облик, а так – шука и шука.

– Давай-ка, Матрена Степановна, узел! – как на плацу скомандовал Васька, видя, что хозяйка все еще в замешательстве.

Матрена протянула ему что-то завязанное в холстинку. Васька потряс узлом, но легонько, и достал оттуда граненый штоф со спиртом, кусок сала и даже свечку, которую, может, еще из Иркутска привез. В станице-то свечки были редкостью, да и баловство это – перевод денег. Ночью спать надо, а не свечки жечь.

Забегала Марфа. Чистую столешницу заново протерла, из печи картофель достала, уху, оставленную Ванюшке. Случай-то какой! В сенцы сбегала за вяленой рыбой и солеными огурцами. Урядник сам уголек из печи достал и раздул, свечку зажег. Никогда еще ночью не бывало так светло в доме Мандрики.

Уселись за столом как равные: с одной стороны – гости, с другой – Мандрика с женой.

«Что это Васька такой добрый, не взглянул ли его кто?» – ломал голову Мандрика, наблюдая, как урядник разливает спирт. Васька поднял свой стакан зеленого стекла.

– Ну... – хотел он назвать Мандрику по имени и отчеству, да замешкался: не мог вспомнить ни имени старика, ни тем более отчества. – Ну, сосед, – нашелся Васька, – побудем здоровы!

– Пейте на здоровье, дорогие гостюшки, – закивала, как клушка, Марфа и первая пригубила разведенного спирту.

Эпов с Мандрикой опорожнили свои мерки до дна. Матрена, подражая жене сотника, у которого доводилось им с Васькой гулять, оставила спирт на доньшке, чтобы видно было, что он там плещется, и, как жена сотника, отерла рукавом губы.

Спирт, хотя и сильно разведенный, нарушил неловкость, которую чувствовали и гости и хозяева. Эпов, закусывая соленым огурцом, похваливал хозяйку за хорошую закуску:

– Ты бы, соседка, и нам как-нибудь миску огурчиков занесла, а то наши-то к весне размякли.

– Да уж по утру и занесу, – обрадовалась просьбе Марфа. – У нас их еще бочоночек.

Но Васька уже заговорил о другом, о ранней весне: «Лед-то прошел еще до Пасхи». Мандрика поддакивал, выпитый спирт приятно согрел старика, и уже не хотелось думать, чего это пожаловал в его дом урядник.

Налили еще. Васька опять закусил только огурцом, зато Матрена налегла на сало. Мандрика разошелся, принялся вспоминать, как рыбачили они однажды с Пешковым на протоке Безумке. Думали они тогда, что Безумка будет течь из Шилки в Аргунь, и так вентерю поставили, а течение повернуло ночью в другую сторону. За такой норов ее и прозвали Безумкой.

Слушая хозяина, Эпов похохатывал:

– Выходит, без рыбы остались!

– Без рыбы, – в тон гостю смеялся Мандрика, – и вентерю унесло.

Васька снова налил и вдруг посерьезнел. Он поднес стакан к свечке, словно рассматривая его на свет, и сказал:

– Однако выпьем еще, да и о деле потолкуем...

Мандрика сразу затих и насторожился, поглядывая на Марфу. Выпили на этот раз молча и так же молча стали закусывать. Слышно было, как на улице поют девки да лает чья-то собака.

– Слышал, сосед, что выпал мне жребеек-батюшка переселяться на Амур? – не то спросил, не то подтвердил уже известное Васька и, глядя в упор на Мандрику, продолжал: – Дак вот, паря, рядили мы нынче так и эдак с Матреной Степановной и решили, что переселяться нам нет никакого резону. Хозяйство, сам знаешь, у нас большое. Шевельни его с места, оно рассыплется, попробуй потом собери. Одних построек у меня на дворе сколько! А ведь все придется бросить псу облезлому под хвост.

Мандрика, еще не зная, к чему клонит Эпов, поддакивал. Добрая Марфа, сочувствуя соседям, принялась сморкаться и вытирать фартуком глаза. А Эпов продолжал:

– Да, двор, и скотина, добра всякого сколько – все на плотях не увезешь. Особливо коней табун, как его перегнать?! Это тебе доведись переселяться: сел на плот, бабку рядом посадил, ноги, значит, свесил, и дуй хоть до моря. У тебя даже плетня вокруг дома нет.

Старик и на этот раз поддакнул: оно, мол, так, какое у меня хозяйство.

– Вот-вот, о том и я толкую, – обрадовался урядник. – Ну, разольем остаток. На доньшке покрепче.

Он захватил пятерней штоф, налил полстакана Мандрике, полстакана себе, хотел плеснуть Матрене, да раздумал, хотя она и пододвинула свою посуду. Чуть поколебавшись, Васька долил до полна стакан хозяина, остальное вылил себе. Матрена хотела что-то сказать, но Васька отмахнулся от нее:

– Ну, побудем здоровы!

– Благодарствуем, – отозвался Мандрика.

Мужики выпили. Мандрика стал сосать беззубым ртом огурец, а Эпов перевернул стакан, зажал его веснушчатými пальцами и как о деле решенном сказал:

– Вот мы тут думали и с сотником нашим, господином зауряд-хорунжим, гутарили... Однако одно остается – ехать заместо меня тебе.

– То есть как? – не понял Мандрика и, ожидая поддержку, посмотрел на жену.

Матрена опять порывалась что-то сказать, но Васька шевельнул ее локтем: молчи, мол.

– Все по закону, – сказал он. – Слышал, поди, распоряжение его высокопревосходительства генерал-губернатора о назначении к переселению. Там прямо про нас писано... – Урядник полез в карман, достал оттуда свернутый вчетверо листок бумаги и, поднеся его к свечке, без запинки, как заученное, прочитал: – «Если богатый, кому достанется жребий, не пожелает, – Васька посмотрел на Мандрику и со значением повторил, – не пожелает сам переселиться, может, с разрешения ближайшего начальства, взамен себя отправить наемщика, дав ему коня, корову и все необходимое для хозяйства».

Матрена наконец выбрала момент и сказала то, что давно собиралась:

– А мы вам коровку, нашу, комолую, отдадим. Да ты ее, Марфушка, знаешь. Она в этом-то году яловая, а так справная коровка.

– И коня со сбруей, – добавил Васька, – и соху, что у меня на бане лежит. Вот, однако, ты и хозяин. Дом тебе на новом месте солдаты поставят, а магарыч за мной.

– Оно так, – замялся Мандрика, – да подумать бы надо.

В словах Васьки много было правды. Кроме вросшей в землю избы, никакого другого хозяйство в станице Мандрику не держало. Но здесь он родился и женился, и Ваньку вырастил тут же. И все-то места в округе он знал, что по Шилке, что по Аргуни. И казаки, кто из старожилов, все его знали, и он – всех.

Его Марфа родилась в большой станице Горбице. Там жители издавна держали скот, и у ее покойных родителей имелась коровка. Как вышла Марфа замуж, привела Мандрике в приданое телушку. Но та телушка во второе же лето завязла в болоте, и затянула ее трясина. Так с тех пор и не собрали они денег на корову. «Коровку бы хорошо завести, – думала Марфа, – чай, доить я не разучилась. Да вот страшно с насиженного места срываться. Здесь хоть крыша своя над головой. А что как в Амуре жилье-то не построят...»

– Однако, по рукам, сосед, – наседали урядник, – я ведь тебе пока по-хорошему, по-соседски предлагаю.

– Да оно так, – опять отозвался Мандрика. – Только надо бы нам промеж собой поговорить. Ванюшку спросить надо бы...

– Чего там, батя, поехали, – неожиданно для всех сказал от двери Иван. Никто не заметил, как он вошел, и, видно, уже слышал часть разговора.

– Во! – обрадовался Эпов. – Слышишь, что молодой казак баит. – И, обернувшись к Ивану, сказал: – Эх, жаль: не осталось спирту. Мы тут его уже употребили. А ведь полный штоф был. Однако ничего, магарыч будет.

* * *

Поддерживаемый за спину Матреной, запинаясь и беспрестанно поминая заразу и лихо-манку, возвращался Васька Эпов в свой конец станицы. Говор и песни на берегу Аргуни уже стихли, только перекликались часовые да переступали и похрапывали во дворах казачьи лошади.

– Вот и договорились миром, – приговаривала Матрена. – Одна беда, комолую жалко.

– Вот зараза, язвы ты, чего жалеть, зато сами остаемся. А малолеток этот – во пень так пень! И денег не попросил. А я уж собрался рублей двадцать ему отсчитать. Под конец разговора берег.

Проводив за порог гостей, в доме Мандрики улеглись спать, но сон ни к кому не шел. Старики думали о перемене, которая их ожидает. Хоть и здесь несладко жилось, но другой жизни они не знали. А вот что будет там – на Амуре? Здесь вот и Ванюшка подрос, уже казак. И обмундирование ему справили. Содержание ему пойдет – подмога будет. Раздумывая, Мандрика пошарил в изголовье, достал свою трубочку и сунул в рот.

Марфа слышала, что он изредка причмокивает, и улыбалась: «Как дите несмышленное, сосет будто соску, не спит. Это ж в даль-то какую перебираться, – думала она, – и земля-то там, поди, другая, и вода, бают, в Амуре мутная – чаю не скипятишь».

Ивана Амур не пугал. Уже три лета, как вновь ходят туда в походы усть-стрелочные казаки, то один, то другой. Столько повидали. А Ванька дальше Горбины нигде не бывал. Хочется повидать новые места. Испытать себя в деле.

Вот Колька Сухотин, лонись, уже на что тяжелый поход был, а отличился. Сколько в тот год и казаков, и солдат поморозилось, с голоду и тифа перемерло. А Колька, как дошел их отряд до поста Кутомандского, поел мягкого яричного хлеба вволю, отогрелся и сказал: «Теперя, ребята, хлеба наелись вдоволь, я могу в два дня дойти до Стрелки». Сотенный командир его отругал. «Пошто болтаешь, – сказал, – до Усть-Стрелки сто восемьдесят верст. По льду, да по снегу, да без коней еще неделю маршировать будем». «Добегу!» – стоял на своем Колька и давай одеваться. «Ну валяй, – разрешил сотенный, – беги, а не управишься в два дня, прикажу розог всыпать за хвостовство».

Колька взял с собой краюху хлеба и прямо в ночь ушел. Потом уже он казакам рассказывал: шагал и ночью и днем. Присядет где на полчаса, достанет из-за пазухи хлеба, пожует и дальше. А как увидел дымы родной станицы, разревелся, и ноги почти отнялись, должно от радости. Еле на берег влез. Приковылял к дому зауряд-хорунжего Богданова, постучался в дверь, разбудил хозяев и попросил записать час, когда он прибыл. Оказалось, прошел казак сто восемьдесят верст за сорок два часа. Зато потом произвели Кольку в урядники, и теперь он не Колька, а господин урядник Николай Сухотин.

Из-за Сухотина поссорился в эту ночь Иван со своей Настей.

Они, Пешковы, все будто Амуром сглазены, что дед Пешков, что Настя. Дед уже дважды в сплавы ходил. Любит старину вспоминать, рассказывает про Албазин, про Ерофея Хабарова, про Алексея Толбузина и Афанасия Бейтона так, будто с ними табак курил. А с Настей, когда ушли они от костра и пригрелись за огородом на коряжине, все сначала шло хорошо, а потом она говорит: «Вот Сухотин, это казак! А ты бы, Ваня, так смог?» Дался ей этот Колька. «Да я бы и дале пробег», – сказал Иван. «Ой ли, Ваня, – засомневалась Настя. – Ночью-то в темноте, да один, по диким местам...»

Хотел с ней Иван о другом поговорить: как заведут они свой дом, как поженятся, когда дослужится он до урядника, – а она опять про Кольку Сухотина.

Ванюшка ее обнял, подержал так, чтобы попривыкла, потом поцеловать хотел, а она на это: «Вон чё удумал. Уходи скорее, за ради Христа!» Как будто до этого они не целовались ни разу!

Осерчал Иван и ушел, а тут дома разговор про Амур. Ну, раз такой раздор с Настей, решил Иван ехать. Пусть кому другому Настя про Сухотина баит, все равно Колька женатый. А Иван дальние края посмотрит, отличится и вернется, может, урядником.

...Журчала у самой угмонившейся на ночь Усть-Стрелки быстрая Аргунь. Катил по дну камушки. Бежали ее волны мимо плотов и барж, мимо темных домов казаков пятой Усть-Стрелочной сотни, стремились на восток, чтобы, встретившись с водами Шилки, разлиться в просторный Амур. А полная луна успела уже подняться и переместиться на запад, и прозрачная дорожка ее легла теперь тоже на восток. Прямо от станичного правления, что стояло на самом краю села, тянулась она по Амuru, по его широким плесам, словно дорога к исконно русским землям, где были пролиты и соленый пот пахарей, и горячая кровь воинов.

Битый сегодня унтером и поставленный им вне очередь часовым, солдат 14-го линейного батальона Михайло Лапоть как замороженный смотрел на эту манящую полосу. «А вот взять ружье бросить и убежать по этой дороге, – распаял себя он. – Тамо-то, на Амуре, меня унтер не достанет. А достанет, дам ему – што левой, што правой по роже – и дух испустит».

– Слу-шай, Аргунь! – донеслось до него с соседнего поста.

- Слу-шай, Амур! – не мешкая, откликнулся Михайло.
- Слу-шай, Шилка! – отозвался часовой уже на Шилке...

2

Из Шилкинского завода, со своих зимних квартир, подходил к Амуру на баржах передовой отряд 13-го линейного Сибирского батальона.

Передовым отрядом шли всего две роты, что очень заботило нового батальонного командира, а точнее, исполняющего его обязанности капитана Якова Васильевича Дьяченко. Батальон растянулся почти на двести верст. Четвертая рота, сплавлявшаяся на плотях, сидела, видимо, где-то на мелях, не добравшись и до Горбицы. Третья задержалась в Горбице, ожидая погрузки конных казаков шестой Горбиченской сотни, предназначенных к переселению на Амур. Но большинство казачьих семей еще не было готово к сплаву, и, когда наконец они погрузятся, никто не знал. А каждый день был дорог. Передовой отряд спешил буквально за водой, а она все время падала. Правда, в последние сутки Шилка начала прибывать, что и позволило двум ротам за день проделать почти половину расстояния до Амура. Зато на первую половину пути, на какие-то сто двадцать верст, потратили девять дней. А по графику, расписанному в Иркутске, на дорогу от Шилкинского завода до Амура всему батальону отводилось ровно два дня.

Если отставшие роты успеют воспользоваться подъемом воды, то они выйдут к устью Шилки через день-два. Но кто ее знает, эту своенравную Шилку, вода может упасть за ночь, и тогда плоты, на которых сплавляется четвертая рота неопытного, только что из корпуса подпоручика Козловского, надолго застрянут, не добравшись до Амура. За третью роту капитан был более спокоен, у нее, кроме плотов, подготовленных для казаков, имелись довольно маневренные баржи и лодки, построенные самими линейцами. Солдаты на них всегда помогут застрявшим плотам. Лишь бы их долго не задержали с погрузкой казаки.

* * *

Сегодня или завтра в Усть-Стрелку должен прибыть генерал-лейтенант Николай Николаевич Муравьев. Дьяченко уже был достаточно наслышан о вспышках гнева, на которые так скор генерал-губернатор, и готов был выдержать разнос, хотя опаздывал не только 13-й батальон. По пути его солдатам приходилось снимать с мелей баржи и спасать солдат с развалившегося плота 14-го батальона. Однако сам командир 14-го батальона майор Языков давно уже в Усть-Стрелке. Обгонял батальон и баржи Амурской компании, сплавлявшей на Нижний Амур в это лето провиант, боеприпасы и прочие грузы. Значит, отстает вся экспедиция.

«Впрочем, капитан, – усмехаясь подумал Дьяченко, – за тринадцатый батальон отвечаешь ты сам, а твой передовой отряд опаздывает на восемь дней. Не рано ли тебе дали это?..» – и он покосился на свои новенькие капитанские погоны, которые носил чуть побольше месяца.

Думая обо всем этом и вглядываясь в многочисленные суда, приставшие к правому берегу Шилки, коренастый, молодежавый для своих сорока лет капитан почти радовался служебным заботам, они позволяли не думать о неурядице в личных делах.

– Ваше благородие, а ведь это Стрелка, – сказал негромко старый солдат Кузьма Сидоров, только что замерявший глубину.

Сидоров был одним из немногих ветеранов батальона, перенесших экспедицию пятьдесят шестого года. Он служил в батальоне уже почти двадцать лет и, чувствуя, что новый командир ценит его, держался с достоинством и не боялся запросто заговорить с капитаном.

– Вижу, Сидоров, – отозвался Дьяченко. – Значит, еще раз померяешь амурские версты?

– Выходит, так, ваше благородие, – разглядывая через прибрежный тальник темневшие в отдалении крыши станицы, согласился Сидоров. И, посмеявшись, сказал: – У меня тут в

Стрелке знакомый живет, казачок один. Вместе в том году бедовали. Может, будет время, дозволите сбегать?..

– Посмотрим, Сидоров... Если ночевать придется, сходишь.

Обрадованный Сидоров зашагал вдоль борта, чтобы вновь замерить глубину.

* * *

Молодые солдаты из новобранцев, впервые участвовавшие в походе и успевшие за десять дней пути испытать его тяготы, уже не чаяли добраться до Усть-Стрелки, о которой дорогой часто говорили. Их бывалые товарищи – «дядьки», не один год таскавшие солдатские ранцы, – обещали, что за Усть-Стрелкой начнется Амур и кончатся окайнные мели.

Не раз по дороге ротные баржи, вдруг зашуршав днищами, влезали на перекат, и тогда новичкам батальона приходилось переваливаться через борта и, чуть помедлив, чтобы набраться духу, прыгать по пояс, а то и по грудь в студеную воду. Там, озябнув до синевы и судорог, они раскачивали жердями тяжелые баржи, пока не сдвигали их с места. Хорошо, если это получалось быстро, а то не раз приходилось, чуть отогревшись у костра на корме, опять лезть в Шилку.

«А все это оттого, – думал солдат первого года службы Игнат Тюменцев, – что попали мы в тринадцатый батальон».

О 13-м линейном батальоне среди солдат шла дурная слава. По рассказам «дядек» выходило, что ему постоянно не везло. Не везло на командиров, не везло в походах и постоянно не везло с провиантом. И все из-за его несчастливого номера. Бывший командир батальона полковник Облеухов любил чуть что лично расправляться с солдатами, и старики рассказывали, что бил он не как-нибудь, а норовил испечь лепешку во всю щеку. Кулачище у него крепкий, да и сам он мужик здоровенный.

Но особенный страх нагоняли рассказы о походе прошлого года, когда батальон проделал почти пять тысяч верст от Шилкинского завода до далекого Мариинска, где теперь находился штаб амурских войск, а потом бечевой шел обратно. И лишь поздней зимой солдатики вернулись на квартиры, оставив половину своих товарищей среди торосов на амурском льду да в снегу на песчаных островах.

Но солдат не выбирает ни командира, ни место службы.

Побритый наголо и облаченный в новый мундир, Игнат не один раз осенил себя крестным знаменем, пока унтер вел новобранцев в канцелярию, где их расписывали по батальонам. Не помогло.

Первым по ранжиру оказался веснушчатый добродушный богатырь.

– Михайло Лапоть! – гаркнул он у стола, за которым сидели писарь и два офицера, и уставился взглядом на писаря.

Унтер-офицер писарь казался новобранцам главным человеком, от которого зависела их судьба.

– Пойдешь в четырнадцатый батальон, – распорядился один из офицеров.

«Повезло человеку», – подумал Игнат.

Второй солдат выкрикнул свою фамилию и тоже попал в 14-й батальон. До Игната оставалось три человека.

– В четырнадцатый... В четырнадцатый... В четырнадцатый, – приказывал офицер.

«Ну, кажется, пронесет», – радовался Игнат. Подражая другим, он бодро выкрикнул:

– Игнат Тюменцев!

Офицер заглянул в список под рукой у писаря, потом в свои бумаги и равнодушно сказал:

– Пойдешь в тринадцатый батальон...

Не раз потом Игнат думал, что, окажись он впереди хоть на одного человека, попал бы в 14-й батальон, и, может, не пришлось бы хватить лиха на Шилке. А будет ли на Амуре полегче, кто знает?

...Родился Игнат в крестьянской деревне Засопошной, недалеко от Читы. Там с ранних лет хлебопашествовал и охотился, а прошлой осенью его отдали «под барабан» – так говорили сельчане о рекрутах.

В деревне Игнат считался парнем заметным. Девки на посиделках его выделяли, потому что Игнат охотно играл на балалайке, не куражился, как это иногда делал сынок лавочника Илюшка, единственный владелец гармони на все ближние деревни. Мог Игнат и сплясать, не хуже, а может быть, лучше других. Жалко было девкам с ним расставаться, когда попал он в рекрутский набор.

И случилось с Игнатом перед отъездом такое... непонятное, что перевернуло всю его душу.

В тот последний вечер в родной деревне собралась молодежь на бревнах, что заготовил Илюшкин отец для нового дома. Игнат с парнями чуть выпил, по случаю проводов. Пели, как всегда, песни, выжимали друг друга с бревен, боролись, плясали у костра – парни «Бычка», а вместе с девушками «Голубца».

Уже за полночь Илюха сам затоптал угли догоревшего костра, и вечерка стала расходиться. Парочки растворились в темноте, будто их и не было. Остальные гуртом потянулись за Илюхой, который с гармонью пошел провожать девчат в дальний конец улицы.

Игнату с ними было не по пути. Он постоял у бревен, послушал, как, удаляясь, наигрывает гармошка, как запели под нее свои припевки девчата, и не спеша пошел домой.

Прошагал он совсем немного, и тут ему навстречу, от тесовых ворот усадьбы лавочника, отделилась тень. Отделилась и стала, не выходя на дорогу.

– Игнаша! – окликнул его девичий голос.

Игнат остановился. Как-то по-особенному, очень уж робко, словно выдохнула, произнесла девушка его имя. Он не сразу узнал в ней дочь соседей Глашу. А когда узнал, непонятно почему словно окунулся в радостную теплую волну.

– Ты, Гланя? – спросил он, не понимая, отчего так радуется этой встрече и называет ее Гланей, а не Глашкой.

Глаша была девчонка как девчонка, и до этого Игнат ничем не выделял ее среди других девушек деревни. Она только этой осенью начала бегать на вечерки. Держалась тихо, не плясала, когда заводили «Голубца», не участвовала в шумных играх, тихонько сидела и улыбалась непонятно чему. Никто из парней пока ее не провожал, а сам Игнат провожал других, постарше. По-соседски другой раз крикнет ей что-нибудь через плетень – вот и весь разговор. Да и сегодня Игнат не помнил: была она на бревнах или нет.

– Домой идешь? – спросил Игнат, чтобы нарушить неловкость, наступившую от неожиданной встречи.

И это тоже было странно: никогда раньше, встречаясь с Глашей, Игнат не испытывал никакой неловкости.

– Тебя жду, – ответила Глаша, не потупясь, как это делали обычно девчата, начиная разговор с парнями, а глядя прямо ему в глаза.

И в голосе ее не было той нарочитой бойкости, за которой девушки иногда стараются скрыть свое смущение, и когда не поймешь, правду они говорят или шутят.

И пока Игнат топтался на месте, не зная, что сказать в ответ, Глаша тихо подошла к нему вплотную, так, что он видел почти у своего лица ее бледное в темноте лицо. Он стоял, проникаясь радостной нежностью к этой девушке из-за ее доверчивости и гордясь тем, что она вот так открылась ему, с какой-то совсем неведомой стороны. Прислушиваясь к тому, что в нем происходит в эту минуту, и веря, что она не отшатнется и не обидится, он положил свои

руки ей на плечи и осторожно привлек Глашу к себе. Щекой он ощущал ее полушалок и ловил тепло ее дыхания.

Так, не шевелясь, боясь спугнуть эту близость, они, робко прижавшись друг к другу, стояли какое-то время, и обоим казалось, что лучших минут в их жизни не было и не будет. Но вот звук Илюшкиной гармошки стал приближаться.

– Пойдем, Игнаша, – сказала она.

– Пойдем, – отозвался он.

Но оба они продолжали стоять не шелохнувшись, будто понимая, что такой близости и такой теплоты друг к другу испытать им уже не придется.

Потом Глаша первая отстранилась. Игнат не пытался удерживать ее. Он покорно отпустил руки. Но они постояли так еще немного. Гармошка уже была недалеко. Глаша, ничего не сказав, пошла по дороге. Игнат зашагал следом, отстав на шаг.

– Игнаша, – сказала она, не оборачиваясь, – хочешь, я буду тебя ждать? Долго, доколе ты будешь служить...

Игнату на миг показалось, что это возможно, но сразу же он впервые со всей определенностью ощутил, на какой страшно большой срок уходит из родных мест. Недаром говорили: в рекрутчину – что в могилу. Поняв это, он ужаснулся и сказал:

– Нет, Глашюшка, не дожدهшься ты меня. Служить-то мне ровно двадцать лет.

Ему казалось, что все сказано и Глаша об этом уже не заговорит, потому что она прожила на свете меньше, чем тот долгий срок солдатской службы, который его ждет.

Теперь они шли рядом по твердой, чуть подмерзшей от октябрьских заморозков дороге. Ни одно оконце в низеньких избах по улице не светило. Глаша вдруг ступила вперед, загородив ему дорогу.

– Буду. Буду! Слышишь, Игнаша, буду я тебя ждать, хоть до старости, – упрямо и настойчиво произнесла она.

Он собрался что-то возразить, но она зажала прохладной ладонью его губы.

– А помнишь, Игнаша, – вдруг весело и звонко на всю тихую улицу сказала она, когда они опять пошли, – помнишь, прошлой зимой ты вернулся с охоты и бросил мне за калитку белочку: «На тебе, Глашка, на воротник!»

Игнат совсем забыл об этом случае, потому что не придавал ему значения. Шкурка белки была подпорчена свинцом, и купцы бы ее не взяли.

– Я эту белочку берегу, чтобы память о тебе была. А тебе... вот на память... – Она нашла его руку и положила в ладонь мягкий сверточек. – Кисет тебе.

– Спасибо, Глаша, – задержал ее ладонь в своей Игнат. – Спасибо, хоть я и не курю.

– Будешь курить, – уверенно сказала Глаша, – солдаты все курят.

Дальше они шли, взявшись за руки, хотя в деревне никогда так парни с девушками не ходили. Это считалось зазорным, как и ходить по-городскому под руку. В Засопошной, когда было темно, парочки бродили обнявшись. Но Игнату и Глаше было хорошо именно так.

У самого дома Глаша осторожно высвободила свою нагретую ладонь из руки Игната и, шагнув за раскрытую калитку, сказала уже из своего двора:

– Ты помни, Игнаша, что я тебе говорила, – и побежала к сенцам.

Утром у телеги, которая собирала по селам новобранцев, толпились почти все жители Засопошной. Приплелись даже дряхлые старики. Рекрутов с Засопошной не брали с самого пятидесяти четвертого года, когда на Крымскую войну, в неведомый город Севастополь, ушло сразу двое. А сегодня вот уходил Игнашка Тюменцев.

Лавочник, Илюшкин отец, прислал на проводы четверть водки. Игнатову мать поддерживали под руки соседки. Причитала она о сыне, как о покойнике. Терли глаза, всхлипывали и другие бабы. Игнатов отец бодрился, не показывал виду, но, когда приложился к чарке, тоже

сник, стал отворачиваться и старательно сморкаться. Многочисленные Игнатовы младшие братишки и сестренки смотрели на него как на чужого.

И вот, когда телега тронулась, когда Илюха заиграл что-то веселое, а Игнат еле оторвался от матери и пошел, не оглядываясь, за телегой, к нему бросилась Глаша. Она долго стояла тут же в толпе, стесняясь подойти. Игнат видел ее то за плечами толпившихся вокруг него парней, то, обернувшись, примечал ее платок среди женщин и тоже не решался подойти. Глаша ждала до последней минуты, а потом, не постеснявшись отца с матерью, не думая о том, что будут говорить в селе, подбежала и обняла Игната. Платок ее сбился, обнажив русые волосы, а губы неумело прижимались к щекам растерявшегося парня.

* * *

– Чего задумался? – толкнул Игната сидевший с ним в паре солдат. – Гляди-ка, приста-
вать будем.

– Принимай к берегу! – скомандовал в это время капитан Дьяченко.

За многочисленными плотами и лодками, облепившими берег Шилки, он выбрал наконец место для своих барж. Услышав команду, гребцы, сидевшие по правому борту, подняли весла. Солдаты левого борта, а с ними Игнат Тюменцев, дружнее, чем прежде, налегли на весла. Баржи одна за другой стали поворачивать и приставать к берегу.

И солдаты и офицеры оживились. После десяти дней пути их ожидал отдых. Длинный ли, короткий – они пока не знали. Но любой отдых – это отдых. До этого они шли с первых проблесков рассвета до глухой темноты, когда берега начинали сливаться с водой и плыть дальше было рискованно. Лишь тогда капитан давал команду приставать. А здесь привал в середине дня!

Прошли какие-то минуты, и на берегу запылала костры. Кашевары засуетились у котлов. Добровольные помощники таскали к очагам сучья и коряжник, бежали с ведрами за водой. Дьяченко смотрел на оживленные лица солдат, слушал веселую переключку голосов и вспоминал батальон в середине зимы, когда ему в Шилкинском заводе пришлось принимать его у полковника Облеухова.

Из четырех рот батальона удалось построить в полном составе только полторы – роту и полуроту, те, что не участвовали в сплаве прошлого, пятьдесят шестого года, сплаве, который тогда же называли «бедственной экспедицией». Остальные роты выглядели жалко. В их шеренгах едва насчитывалась треть состава. Еще одна треть числилась в списке больных: простуженных, обмороженных или отоцавших от голода. Меньшая половина их содержалась в лазарете при Шилкинском заводе, а остальные отлеживались по станицам на всем протяжении Шилки – от завода до Усть-Стрелки. Но и те, что стояли в строю и считались здоровыми, поражали своим потерянными и убогим видом. Во взглядах одних застыл испуг, глаза других выражали тупое равнодушие, и это было особенно страшно, словно вместо глаз у солдат были вставлены тусклые пуговицы.

Дьяченко, глядя на лица солдат с так и не отмывшейся копотью костров, на их обмороженные щеки и поразившие его своей отрешенностью взгляды, хотя и знал, что стало с остальной частью батальона, однако не удержался и сказал Облеухову:

– Господин полковник, я не могу насчитать еще почти половины нижних чинов...

Офицеры поговаривали, что Облеухов со дня своей недавней свадьбы «не просыхал» ни на час. По-видимому, они были недалеко от истины. Во время передачи батальона полковник, хотя и держался на ногах твердо, смотрел осоловелыми глазами, от него несло устоявшимся водочным перегаром. До него не дошел смысл слов, сказанных Дьяченко.

– Так у вас же, штабс-капитан, в руках список больных, – недовольно отозвался полковник.

– Я говорю о тех, кого нет в строю и в списке.

– Ах, об этих!

– Да, с вашего позволения, – подчеркнуто вежливо подтвердил Дьяченко.

Облеухов снял папаху, истово перекрестился и важно произнес:

– Царство им небесное.

Потом он надел папаху, мутным взглядом посмотрел на Дьяченко и, помолчав, добавил:

– Насколько мне известно, штабс-капитан, вы еще не командир батальона. Я надеюсь, лишь временно принимаете оный. И не вам, новому в этих краях человеку, не зная местных условий, судить нас, старых солдат. Давайте-ка лучше заканчивать эту затянувшуюся процедуру.

С тех пор прошло полгода, но батальон заметно изменился в лучшую сторону. Добрались из станиц, вернулись из лазарета выздоровевшие солдаты, прибыло пополнение. Поначалу и старые служаки, и новобранцы боялись самого слова «Амур». Очень уж свеж был в памяти неудачный поход. А солдаты, перенесшие его, ночами, побряхтев и поохав, день, дескать, государев, а ночь наша, вспоминали о походе, добавляя к былям небылицы, хотя можно было ничего не придумывать, испытания на долю батальона действительно выпали тяжелейшие.

Дьяченко считал, что в трагическом исходе экспедиции виновны два человека: бывший командир батальона полковник Облеухов и майор Буссе, отвечавший за обеспечение сплава продовольствием. Но более других, конечно, Облеухов.

Дьяченко, хотя и служил под началом Облеухова, встречался с ним всего дважды – в начале и в конце амурской карьеры полковника. Первый раз в Иркутске, ранней весной 1854 года, когда Облеухов был назначен командиром батальона, второй раз прошедшей зимой, при сдаче батальона.

В пятьдесят четвертом году Дьяченко был еще новичком в Сибири и не знал ее, хотя числился в Сибирском линейном № 13 батальоне с марта 1852 года, когда после более чем десятилетнего перерыва вновь вернулся на военную службу.

Приказ о назначении в батальон он получил в далекой отсюда Полтаве, откуда три месяца добирался до Иркутска. Не успев обжиться и освоиться в «сибирском Париже», поручик Дьяченко получил приказ доставить в Москву двести семьдесят шесть рекрутов-сибиряков. Дорога с ними до Москвы, сдача солдат и возвращение заняли почти год. Зато он первый привез в Иркутск весть о победе адмирала Нахимова при Синопе. А через несколько месяцев, почти сразу же после получения известия о том, что Англия и Франция объявили России войну и их эскадры уже вошли в Черное море, Муравьев уезжал на Амур возглавить сплав по азиатской реке.

В тот день, 20 апреля 1854 года, по всей сибирской столице звонили колокола. Ходили слухи, что англо-французская эскадра идет вокруг света, чтобы напасть на Камчатку, а потом на Аян и Охотск, что китайцы у Айгуня якобы перегородили Амур цепями, чтобы не пропустить русских. Но более всего говорили о решении Муравьева провести сплав по Амуру.

Для непосвященных в подготовку сплава, во все столичные интриги, предшествовавшие решению о нем, это была действительно ошеломляющая новость. Дорогой, разведанной русскими землепроходцами еще в XVII веке, впервые после того, как был оставлен славный Албазин, по Амуру должны были пройти русские суда и доставить в его низовья, на Камчатку и Сахалин войска, боеприпасы и продовольствие.

За Ангарой в честь отъезжающего на Амур генерал-губернатора городские власти и купечество накрыли столы для прощального обеда. Еще только-только распустились вербы, и ими украсили стол, за которым сидел Муравьев с супругой. Много было речей и тостов. Дьяченко запомнил разговор незнакомых ему полковника и штатского чиновника. Чиновник, видимо, сомневался в необходимости экспедиции.

– У Невельского в Николаевском тридцать человек и тридцать дрянных кремневых ружей, в Мариинском восемь солдат и столько же ружей, – сказал полковник.

– А пушки-то, конечно, есть? – спросил чиновник.

– А как же! – последовал ответ. – Имеются! В Николаевском две трехфунтовых пушки, да стреляет одна. Стоит еще пушечка в Александровском посту, в Де-Кастри. А пороху во всей экспедиции осталось полтора пуда... Вот и судите, нужен ли нам сплав!

Но общество, собравшееся за столом, в своем большинстве поддерживало сплав. Все поздравляли Муравьева с великим начинанием.

В конце обеда поднялся полковник Облеухов.

– Я, ваше высокопревосходительство, простой солдат, – сказал он, – и горжусь этим. Позвольте же мне, по-простому, прочесть вам прощальную поэму собственного сочинения.

– Просим! Просим! – поддержало полковника общество.

Он развернул лист бумаги, отнес руку вперед и зычным, привычным командовать на плацу голосом, начал:

Порадовал ты нас приездом,
Но дал лишь на себя взглянуть,
И уж сулишь нам грусть отъездом,
Собравшись в дальний дивный путь...

Муравьев поморщился, когда доморощенный пиит обратился к нему на «ты», но потом, заметив, что его супруга, уже свободно говорившая по-русски француженка Екатерина Николаевна, томно прикрыв веки, беззвучно прихлопывает пухлыми ладошками, а другие дамы подносят к глазам платочки из модной в тот год в Иркутске сарпинки, расчувствовался сам и благосклонно выслушал длиннющее стихотворение.

Особенно понравился ему конец поэмы:

...Гряди ж, герой, среди молений,
Теплящихся во всех сердцах.
Русь от тебя ждет приношений,
Каких не сделал и Ермак!

Еще раздавались оживленные хлопки, еще, прижав растопыренные пальцы к тесному мундиру, полковник галантно раскланивался, а уже карьера его была предрешена. Обернувшись к начальнику штаба, Муравьев спросил:

– Вакансия командира тринадцатого батальона еще не замещена?

И, получив утвердительный ответ, распорядился:

– Поставить на батальон полковника...

– Облеухова, – подсказал начальник штаба.

– Да-да, – кивнул Муравьев.

Это была первая встреча Дьяченко с Облеуховым. Вскоре поручик испросил отпуск по семейным обстоятельствам и уехал в Полтавскую губернию за сыном. Вернувшись и пристроив двенадцатилетнего Володьку в доме купца Захарова, у которого до этого квартировал сам, Дьяченко отправился в забайкальский город Верхнеудинск.

13-й линейный Сибирский батальон, сформированный еще в 1829 году из Иркутского гарнизонного батальона, к началу 1855 года был разбросан по трем пунктам. Одна рота стояла в Иркутске, две находились в Верхнеудинске и одна в Шилкинском заводе. Назначенный командиром двух рот, стоявших в Верхнеудинске, Дьяченко, ставший к тому времени штабс-

капитаном, получил приказ следовать с этими ротами в Шилкинский завод, куда предполагалось стянуть весь батальон.

И опять пешком порядком пришлось чуть ли не два месяца шагать по Забайкалью. В сплаве пятьдесят шестого года штабс-капитан непосредственно не участвовал, он командовал конвойным отрядом.

Полковник же Облеухов перед самым сплавом сосватал дочь богатого верхнеудинского купца красавицу Сашеньку Курбатову. Свадьба была отложена до возвращения жениха из похода.

* * *

Плыли в тот год линейцы на лодках. Облеухов оказался чувствительной натурой. Ночами он грезил о будущей встрече с невестой, сочинял ей нежные послания в стихах и засыпал только перед рассветом. Утром ординарец не подпускал никого к палатке начальника отряда. «Приказано не беспокоить», – шепотом объявлял он, когда в первые дни офицеры приходили доложить, что отряд готов в путь. Подкрепляя слова ординарца, из палатки рычал пес Султан, лично выращенный Облеуховым со щенячьего возраста. Линейцы и казаки, входившие в отряд, терпеливо ожидали пробуждения полковника, наблюдая, как мимо них вниз по Амуру проходят другие отряды третьего сплава.

В Мариинск отряд Облеухова добрался с опозданием на два месяца. Пока в Кизи сдавали грузы, пока готовились к возвращению, уходили лучшие летние дни.

Наконец, в самом конце июля, тронулись в обратный путь, теперь уже против течения. Солдаты не умели идти бечевой, лодки вихляли по реке, часто налетая носами на берег. Амурские версты казались длинней, чем были.

Следовало спешить, а тут подошел день ангела Саши Курбатовой. Облеухов устроил по этому случаю трехдневный пир и хлебосольно угощал офицеров обгонявших их батальон отрядов.

Через некоторое время оказался день рождения будущего тестя, а потом, по счастливому совпадению, и дорогой тещи – эти события отмечались скромнее, всего двухдневными попойками. Нельзя было не отметить хотя бы дневкой царские и церковные праздники. Так в пирах пролетело лето, наступила осень. Перестали попадаться встречные суда, никто уже не обгонял отряд. Все войска, предназначенные к возвращению, давно прошли. На великих просторах Среднего Амура отряд под командою Облеухова остался один.

Первый тревожный сигнал будущего бедствия отряд получил, достигнув временного Сунгарийского продовольственного поста. Здесь их команду почти в четыреста человек, прошедших девятьсот верст пути, явно не ожидали.

– Я пропустил уже две тысячи ртов, а запасы у меня на посту, извините, были жалкие, – доложил начальник поста, казачий есаул, одергивая однобортный чекмень с белесыми погонами.

– Но я вам приказываю, есаул, обеспечить отряд полным продовольствием на десять дней. Как то положено. Чтобы мы могли добраться до Буреинского поста, – горячился полковник Облеухов. – Там, я надеюсь, начальник более рачительный и оставил для нас все необходимое.

– Извините, ваше высокоблагородие, но мне с двадцатью четырьмя казаками здесь зимовать. Я должен думать о пропитании команды до самой весны. Единственное, что я могу сделать, это отпустить вам на десять дней сухарей и буды. Больше на посту ничего нет.

– Однако странно, господа, – обернулся Облеухов к своим офицерам, ища у них поддержки. – При мне собака, она не будет есть кашу из этой... буды. Ей необходимо мясо. Выделите хотя бы немного солонины.

– Только полпуда, для вас и господ офицеров, – сдался есаул и снял лохматую медвежью папаху, чтобы вытереть пот.

До следующего – Буреинского – поста вместо ожидаемых восьми-десяти дней шли половину месяца. Ослабевшие на одних сухарях и жидкой каше солдаты еле брели по косам и амурским берегам, с трудом волоча за собой лодки. Но и в Буреинском посту, и в следующем за ним Зейском, которым командовал пожилой есаул Травин, оказались лишь ничтожные запасы продовольствия.

Травина напугали полковничьи погоны Облеухова, он смущался, пыхтел, но все-таки заявил:

– Войдите в мое положение, ваше высокоблагородие. На посту пятьдесят казаков. Я прикажу накормить отряд сегодня, но на это уйдет мой полумесячный запас, а зима-то длинна.

Есаул все-таки выделил отряду по два фунта сухарей на человека и дал на дорогу два мешка свежей рыбы.

– Вот в Кумарском посту, – обещал Травин, – должен быть хлебушко. Там, я слышал, построили пекарню.

Начался октябрь с нудными дождями и холодными ночами, а потом ударили заморозки. В обтрепанных за дорогу шинелях, натянув поглубже фуражечки, брел батальон против ветра и против течения к заветной Кумаре, где голодные солдаты рассчитывали получить хлеб, а может, и другое продовольствие.

Перед Кумарой пошел мокрый снег. Двести верст между Зейским и Кумарским постами показались линейцам за тысячу. В тот ветреный слякотный день похоронили первого солдата, умершего от горячки.

Но и в Кумарском посту ожидало батальон разочарование. Пекарня, о которой им говорили, действительно была сложена казаками, но мука для выпечки хлеба не подошла. Даже обогреться и обсушиться оказалось негде. Урядник с двадцатью пятью казаками поста вырыли для себя землянки. О том, чтобы разместить в них несколько сотен нижних чинов отряда Облеухова, не могло быть и речи.

Полковник с господами офицерами заняли на ночь тесную пекарню. Кое-кого из казаков пустили к себе в землянки знакомые станичники, а остальным опять пришлось коротать ночь у костров.

На второй день после того, как оставили Кумарский пост, потянулось по Амуру «сало» из мокрого снега, а к вечеру поплыли льдинки. Стало ясно, что на лодках дальше не пройдешь, и Облеухов повернул обратно в Кумару.

Большее огорчение для начальника поста трудно было представить. Ему пришлось выселить из землянок своих казаков и поместить туда больных из отряда Облеухова. Надо было хоть раз в сутки покормить чем-нибудь свой пост и свалившийся на его голову отряд. За двадцать дней, прожитых отрядом в Кумарском посту в ожидании ледостава, все припасенное здесь продовольствие съели почти подчистую. Ненужные теперь лодки решено было бросить, и линейцы стали мастерить сани, чтобы взять на них имущество и больных.

Наконец пешком, волоча за собой сани, тронулись в дальнейший путь. Надежда теперь оставалась на Кутомандский пост. Но до него нужно было пройти триста восемьдесят верст. Начались морозы, выпал глубокий снег. Батальон растянулся и уже не собирался на ночь к одной стоянке. Голодая, солдаты варили и ели ремни, подошвы, кожу от ранцев.

Однажды на привале полковник подозвал к себе юнкера Комарова и доверительно попросил:

– Вы знаете, юнкер, мою... э, тонкую натуру. – О том, что у него «тонкая» натура, полковник узнал от невесты, когда впервые прочитал посвященные ей стихи. – Я могу побить солдата, – продолжал полковник, – но поднять руку на собаку, на моего верного Султана, я не

смогу. Нет-с... Он столько перенес тягот в этом походе. – И, положив руку на плечо юнкера, просительно сказал: – Пристрелите, пожалуйста, Султана.

Юнкер подумал, что полковник решил убить пса из жалости, и стал говорить, что, может быть, собака доберется до Кутомандского поста. Она уже научилась промышлять по дороге мышей, а недавно вырыла из-под снега дохлую рыбину.

– Нет, юнкер, сделайте это сейчас, для меня...

Комаров отозвал Султана в кустарник и одним выстрелом прикончил пса. Полковник тут же приказал ободрать собаку и сварить ему мясную похлебку, остальное мясо сохранить и варить только по его распоряжению. Собачьего мяса Облеухову хватило ненадолго. Но тут батальону неожиданно повезло. Навстречу отряду выехали кочующие на лошадях местные жители – манегры. У этих обитателей тайги нашлась начатая туша сохатого. Мясо сварили и съели. А впереди батальон вновь ожидал многодневный путь без крошки продовольствия в ранцах...

Облеухов окончательно растерялся.

– Все погибло... Все погибло, – шептал он утром у костра, когда вокруг него собрались офицеры. – Но, господа, меня ждет невеста! – вдруг воскликнул он. – Я должен ради нее остаться жить. Что будем делать?

Офицеры отряда, переминаясь с ноги на ногу, молчали. И тогда полковник увидел, что манегры, собираясь в путь, снаряжают сани.

– Задержите их! – закричал он. – Скажите, что я покупаю у них лошадей.

Двое офицеров бросились к манеграм. Они долго убеждали их, наконец вернулись и сообщили, что кочевники могут продать только две лошади.

– Адъютант, – распорядился полковник, – заплатите им, сколько они попросят.

Адъютант батальона отсчитал тридцать серебряных рублей. Однако две повозки не могли вместить всех офицеров, и полковник приказал:

– Не захотели добром... Отобрать у них еще одну лошадь.

Как ни кричали охотники, как ни доказывали, что с двумя конями они пропадут, у них отобрали еще одну лошадь.

– Передайте нижним чинам, – сказал Облеухов, перед тем как устроиться в санях, – что мы едем в Кутомандский пост, чтобы предупредить там о бедственном положении отряда. Пусть помнят о царе-батюшке и идут вперед. В Кутоманде их ожидает отдых и пища.

Завихрился снег под полозьями плетеных манегрских саней, и скоро повозки с офицерами скрылись за поворотом заснеженного амурского берега.

С этого дня отряд брел без командиров, да уже и не было отряда – каждый шел сам по себе. Те, кто оказались посильнее, уходили вперед, шагали, пока хватало сил, а потом в изнеможении валялись прямо на снег. Отлежавшись, начинали искать у берега сучья и разводить костер. К этому костру тянулись другие, таяли в котелках снег, обжигаясь, пили кипяток, а потом в нем же варили уже кипяченые не раз куски ремней. Все-таки это кожа... И опять шли вперед. Казалось, вот пройдешь кривун или обогнешь скалистый берег – и за ним откроется желанный Кутомандский пост.

Дни и ночи спутались в представлении полуживых, обмороженных, закопченных дымом людей. От костра к костру брели они в холодных шинелях и не гревших фуражках. Еле двигались сами, но упорно тащили казенное имущество: ружья и ранцы. Солдат без ружья – уже не солдат.

В редкой цепочке людей, растянувшейся на много верст, шли рядом сдружившиеся за поход солдат линейного батальона Кузьма Сидоров и казак Усть-Стрелочной сотни тоже Кузьма, только Пешков. В начале пути, когда приходилось вместе тянуть бечеву, или встретившись на привале, они рассказывали каждый о своем. Сидоров – о солдатской службе, дру-

гую-то жизнь он почти не знал, так как тянул солдатскую лямку уже около двадцати лет. Пешков рассказывал про свою станицу.

– Ну, паря, как добежим до Стрелки, сразу же ко мне, – приглашал он. – У меня старуха – добрая хозяйка. И Наська у меня – дочка. И баньку нам истопят, однако, и покормят, и напоят. Отдохнем.

– Это непременно, – соглашался Сидоров. – К себе-то я тебя не зову. У меня ни двора, ни баньки. Разве костер у своей избы разложу, возле него погостюешь!

– А то и на полати с тобой заберемся, – мечтал Пешков. – Вот где бока погреем! Ты на полатах-то леживал?

– Ты, Кузьма, может, думаешь, что я так и родился солдатом. Нет, брат, я из крестьян. Мальцом и на печи спал, и на полатах. А служу-то я не за себя, за брата.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.